

## Журнальные отзывы.

Журнальные статьи и рецензии, в особенности — относящиеся к годам усиленной работы в области нового литературного жанра (1825 — 1828 — 1832 гг.), дают наглядную картину отношения критики к ближайшим соратникам Пушкина и его второстепенным или третьестепенным подражателям. И здесь библиографические указатели ограничиваются „вершинами“: кроме Пушкина материал современных критических отзывов собран полностью только для поэм Баратынского (Акад. изд. т. II) и Козлова (К. Труш, „Очерк литературной деятельности И. И. Козлова“, 1899). Но обсуждение в журналах произведений второстепенных подражателей Пушкина заслуживает также внимания: оно не только определяет судьбу литературного жанра романтической поэмы в оценке современников и потомства, но бросает свет и на более общие проблемы литературного жанра, его тематики и композиции, — не в меньшей степени, чем отзывы о поэмах Пушкина, приведенные выше.

„Южные поэмы“ Пушкина, как видно из предыдущего, за немногими исключениями (М. Дмитриев, Олин) были встречены критикой с большим сочувствием: споры между журналами касались не столько художественных достоинств самих поэм, сколько вопросов теоретических, вызванных появлением „байронического“ жанра. Таким единодушным сочувствием был встречен только „Чернец“ Козлова (1825), чему отчасти способствовала и личная судьба слепого поэта. Уже „Эда“ Баратынского (1826) вызвала литературные споры: однако, во всяком случае, она имела на своей стороне всех сочувствующих новому течению в поэзии; то же относится к первой поэме Подолинского „Див и Пери“ (1827), оригинальной по теме и по метрической форме. Различные фазы дальнейшего отношения литературной критики к Баратынскому достаточно хорошо известны (ср. Акад. изд. т. II); „Борский“ Подолинского (1829), встретил уже решительные возражения (ср. в особенности — статью Надеждина в „Вестн. Евр.“ 1829, № 6, стр. 143 сл.), а „Нищий“ (1830) был осужден единодушно, как подражание Жуковскому; очень слабый успех имела также „Безумная“ Козлова (1830). Массовая продукция 1828—1832 гг. вызывает спор со стороны восторженной критики; особенно резкое осуждение встречают подражания Пушкину — „Киргизский Пленник“ Муравьева, „Пещера Кудеяра“ Степанова, „Разбойник“ и „Могила на берегах Маджоре“ П. Машкова, а также поэмы, помещенные в „Опытах“ Ал. Шишкова 2-го („Лондонской“ и „Ермак“). За эти годы были встречены общим сочувствием только „Хиосский Сирота“ П. Ободовского (1828) — по мотивам благотворительности и патриотизма, и „Селам“ Ознобишина (1830) — как изящная туалетная безделушка: ботаника, предназначенная для дам. Некоторые надежды возбудил Фед. Алексеев поэмой „Чека“ (1828) (см. рецензии „Сев. Пчелы“ и „Моск. Телегр.“) — может быть, потому, что выбрал тему из отечественной истории и не обнаружил явного подражания „южным поэмам“ Пушкина. Но уже Вельтман, выступив-

ший с „Беглецом“ (1831), не имел никакого успеха, несмотря на „чувство и хороший язык“, и у рецензента „Сев. Пчелы“, настроенного вполне благожелательно, остается впечатление, что „нового в сей повести нет, все приключения мы читывали уже во множестве других повестей“, „новых картин и положений также не находим в сей повести“, „нет сильных новых мыслей“ и т. п. (1831, № 95). Через три года рецензент „Молвы“ в запоздалой рецензии о „Ссылном“ П. Иноземцова (1833), „об этой книжке в свою очередь тоже очень запоздавшей“, подведет итог совершившегося в настроении современников перелома: „Было время, когда так называемые Романтические Поэмы писались, читались и благополучно сходили с рук... То было золотое время — уже не воротить его!..“ „Разбирать в этой Повести нечего: это новая погудка на старый лад...“ („Молва“ 1834, т. VIII, стр. 107—08).

Отзывы современников дают возможность проследить процесс, происходящий не только в самой литературе, но в сознании читателей: превращение жанровых особенностей пушкинской поэмы в известную систему литературных шаблонов. Уже Н. Раевский, широко начитанный в поэзии Запада и потому достаточно независимый в своих суждениях о русском „романтизме“, отмечает первые признаки шаблонизации нового жанра — в творчестве ближайших соратников Пушкина. „Твой „Кавказский Пленник“ — произведение плохое — открыл путь, на котором посредственность встретит камень преткновения“, так пишет он Пушкину 10 мая 1825 г. „Я не поклонник длинных поэм, но произведения отрывочного характера требуют всей роскоши поэзии — сильно задуманного характера и положения. „Войнаровский“ — произведение мозаичное, составленное из отрывков из Байрона и Пушкина, которые притом соединены не очень-то обдуманно. Не требую от него соблюдения местных красок. Автор — умный мальчик, но не поэт. Больше достоинств в отрывках из „Наливайка“. В „Чернеце“ есть настоящее чувство, есть наблюдательность (чуть было не сказал: знание сердца человеческого), счастливая и хорошо выполненная задача, есть, наконец, чистый слог и истинная поэзия, пока Козлов говорит сам от себя, но зачем это он вздумал рамками своей поэмы пародировать „Гяура“ и окончил ее длинною парафразой одного места из „Мармiona“? Он подражал, и иногда очень счастливо, твоей манере быстрого рассказа и оборотам речи Жуковского. Он, должно быть, знает по английски и изучал Кольриджа“ (Л. Майков, „Пушкин“, стр. 146, там же французский оригинал — 144).

Интересно, что „Сын Отечества“ еще в 1823 г., непосредственно после появления „Кавказского Пленника“ и „Шильонского Узника“, предсказывал развитие на русской почве подражательной формы байронической поэмы: „В поэзии видели мы два прекрасные явления: „Кавказский Пленник“ А. Пушкина и „Шильонский Узник“ Жуковского утешили нас, как свежие родники в пустой знойной степи.... Теперь должно будет еще выдержать натиск легиона узников и пленников, которые непременно станут под знамена Байрона и Пушкина“ (ч. 83, стр. 11—12, „Письма на Кавказ“). В 1825 г. „Московский Телеграф“ уже обсуждает вопрос о влиянии Пушкина на современников и называет имена поэтов пушкинской школы: „Сильное дей-

# V.

## Журнальные отзывы.

Журнальные статьи и рецензии, в особенности — относящиеся к годам усиленной работы в области нового литературного жанра (1825 — 1828 — 1832 гг.), дают наглядную картину отношения критики к ближайшим соратникам Пушкина и его второстепенным или третьестепенным подражателям. И здесь библиографические указатели ограничиваются „вершинами“: кроме Пушкина материал современных критических отзывов собран полностью только для поэм Баратынского (Акад. изд. т. II) и Козлова (К. Труш, „Очерк литературной деятельности И. И. Козлова“, 1899). Но обсуждение в журналах произведений второстепенных подражателей Пушкина заслуживает также внимания: оно не только определяет судьбу литературного жанра романтической поэмы в оценке современников и потомства, но бросает свет и на более общие проблемы литературного жанра, его тематики и композиции, — не в меньшей степени, чем отзывы о поэмах Пушкина, приведенные выше.

„Южные поэмы“ Пушкина, как видно из предыдущего, за немногими исключениями (М. Дмитриев, Олин) были встречены критикой с большим сочувствием: споры между журналами касались не столько художественных достоинств самих поэм, сколько вопросов теоретических, вызванных появлением „байронического“ жанра. Таким единодушным сочувствием был встречен только „Чернец“ Козлова (1825), чему отчасти способствовала и личная судьба слепого поэта. Уже „Эда“ Баратынского (1826) вызвала литературные споры: однако, во всяком случае, она имела на своей стороне всех сочувствующих новому течению в поэзии; то же относится к первой поэме Подолинского „Див и Пери“ (1827), оригинальной по теме и по метрической форме. Различные фазы дальнейшего отношения литературной критики к Баратынскому достаточно хорошо известны (ср. Акад. изд. т. II); „Борский“ Подолинского (1829), встретил уже решительные возражения (ср. в особенности — статью Надеждина в „Вестн. Евр.“ 1829, № 6, стр. 143 сл.), а „Нищий“ (1830) был осужден единодушно, как подражание Жуковскому; очень слабый успех имела также „Безумная“ Козлова (1830). Массовая продукция 1828—1832 гг. вызывает спор со стороны встревоженной критики; особенно резкое осуждение встречают подражания Пушкину — „Киргизский Пленник“ Муравьева, „Пещера Кудеяра“ Степанова, „Разбойник“ и „Могила на берегах Маджоре“ П. Машкова, а также поэмы, помещенные в „Опытах“ Ал. Шишкова 2-го („Лонской“ и „Ермак“). За эти годы были встречены общим сочувствием только „Хиосский Сирота“ П. Ободровского (1828) — по мотивам благотворительности и патриотизма, и „Селам“ Ознобишина (1830) — как изящная туалетная безделушка: ботаника, предназначенная для дам. Некоторые надежды возбудил Фед. Алексеев поэмой „Чека“ (1828) (ср. рецензии „Сев. Пчелы“ и „Моск. Телегр.“) — может быть, потому, что выбрал тему из отечественной истории и не обнаружил явного подражания „южным поэмам“ Пушкина. Но уже Вельтман, выступив-

ший с „Беглецом“ (1831), не имел никакого успеха, несмотря на „чувство и хороший язык“, и у рецензента „Сев. Пчелы“, настроенного вполне благожелательно, остается впечатление, что „нового в сей повести нет, все приключения мы читывали уже во множестве других повестей“, „новых картин и положений также не находим в сей повести“, „нет сильных новых мыслей“ и т. п. (1831, № 95). Через три года рецензент „Молвы“ в запоздалой рецензии о „Ссылном“ П. Иноземцова (1833), „об этой книжке в свою очередь тоже очень запоздавшей“, подведет итог совершившегося в настроении современников перелома: „Было время, когда так называемые Романтические Поэмы писались, читались и благополучно сходили с рук... То было золотое время — уже не воротить его!..“ „Разбирать в этой Повести нечего: это новая погудка на старый лад...“ („Молва“ 1834, т. VIII, стр. 107—08).

Отзывы современников дают возможность проследить процесс, происходящий не только в самой литературе, но в сознании читателей: превращение жанровых особенностей пушкинской поэмы в известную систему литературных шаблонов. Уже Н. Раевский, широко начитанный в поэзии Запада и потому достаточно независимый в своих суждениях о русском „романтизме“, отмечает первые признаки шаблонизации нового жанра — в творчестве ближайших соратников Пушкина. „Твой „Кавказский Пленник“ — произведение плохое — открыл путь, на котором посредственность встретит камень преткновения“, так пишет он Пушкину 10 мая 1825 г. „Я не поклонник длинных поэм, но произведения отрывочного характера требуют всей роскоши поэзии — сильно задуманного характера и положения. „Войнаровский“ — произведение мозаичное, составленное из отрывков из Байрона и Пушкина, которые притом соединены не очень-то обдуманно. Не требую от него соблюдения местных красок. Автор — умный мальчик, но не поэт. Больше достоинств в отрывках из „Наливайка“. В „Чернце“ есть настоящее чувство, есть наблюдательность (чуть было не сказал: знание сердца человеческого), счастливая и хорошо выполненная задача, есть, наконец, чистый слог и истинная поэзия, пока Козлов говорит сам от себя, но зачем это он вздумал рамками своей поэмы пародировать „Гяура“ и окончил ее длинною парафразой одного места из „Мармизона“? Он подражал, и иногда очень счастливо, твоей манере быстрого рассказа и оборотам речи Жуковского. Он, должно быть, знает по-английски и изучал Кольриджа“ (Л. Майков, „Пушкин“, стр. 146, там же французский оригинал — 144).

Интересно, что „Сын Отечества“ еще в 1823 г., непосредственно после появления „Кавказского Пленника“ и „Шильонского Узника“, предсказывал развитие на русской почве подражательной формы байронической поэмы: „В поэзии видели мы два прекрасные явления: „Кавказский Пленник“ А. Пушкина и „Шильонский Узник“ Жуковского утешили нас, как свежие родники в пустой знойной степи.... Теперь должно будет еще выдержать натиск легиона узников и пленников, которые непременно станут под знамена Байрона и Пушкина“ (ч. 83, стр. 11—12, „Письма на Кавказ“). В 1825 г. „Московский Телеграф“ уже обсуждает вопрос о влиянии Пушкина на современников и называет имена поэтов пушкинской школы: „Сильное дей-



стве поэзии Пушкина на современников доказывает, что истинное дарование очаровательно и недостижимо для других, неравных силами. Кто не подражает Пушкину, и кто сравнился с ним из подражателей, хотя большая часть новых стихотворений отделяются явно по образцам Пушкина" ("Обозрение русской литературы в 1824 г.", стр. 85—86, ч. I). Среди этих подражателей Пушкина обозрение выделяет "гг. Языкова, Тютчева и Шишкова", которые "подают прекрасную надежду" (86). В "Восточной Лютне" Шишкова автор усматривает "неслыханные подражания Пушкину и хорошие стихи" (86, прим.).

В 1829 году по поводу поэмы Ф. Алексеева "Чека", "Московский Телеграф" возвращается к вопросу о подражателях Пушкина. В числе последних названы — Баратынский, Подолинский, Плетнев, Языков, Шишков; однако, основной вопрос, волнующий рецензента, — об авторах романтических поэм: "Мы назвали новых поэтов наших последователями Пушкина и скажем, что имя это принадлежит им по многому. Писать стихи выучил их Пушкин; кроме того он первый явился у нас представителем романтических поэм Байрона, и увлек собою всех. Только в последних сочинениях Баратынского является самобытность и отступление от форм и стихов Пушкина..." (1829, ч. XXVI, стр. 78). Вслед за этим дается характеристика художественных особенностей пушкинской поэмы, снисходительная по отношению к самому Пушкину, полемическая по отношению к подражателям, возводящим в правило "недостатки" юношеских произведений великого поэта: "Принимая размер стихов Пушкина, поэты наши принимали и тот дух, те формы мыслей, коими донныне ознаменовались все его поэмы. От сего главные недостатки: однообразие духа, в каком изображаются герои поэм; забвение форм, под коими должна бы являться национальность и частность героев и героинь. Прибавим к этому неполноту плана, слабую завязку, на которой обыкновенно держатся новые поэмы, оставление в тени многих частей и отделку только некоторых, от чего поэма бывает только рядом картин, часто худо связанных; к этому ведет и самое деление поэмы на книги, а книг или глав на строфы и куплеты. Заметим, что Пушкин с каждою поэмой удаляется от таких недостатков: Цыганы его были уже весьма чужды их, а Мазепа, как говорят, есть творение, полное новой жизни и совершенной самобытности..."

Если так относился к подражателям "Московский Телеграф", журнал "романтический", то в "Вестнике Европы" или в "Телескопе" представители нового жанра могли рассчитывать только на осуждение. Статья Н. Надеждина о "Борском" Подолинского (1829, ч. II, стр. 143 сл.), напечатанная одновременно с знаменитым разбором "Полтавы" (1829, ч. II—III), открывает враждебные действия. Она заключает подробный разбор романтической поэмы с полемическим обозначением почти всех существенных жанровых признаков. Статья открывается ироническим приветствием: "Еще новые роды на нашем Парвае русскую Поэзию! Ее эпическое богатство приумножается бесна смешение жанров, строгого разграничения которых требовала классическая поэтика: "Борский есть романтическая поэмка! Так

по крайней мере предполагаем мы называть все подобные поэтические произведения, в коих самовластие гения посмеивается всем доселе существовавшим размежеванием поэтического мира. Несмотря на смешение всех родов поэзии, составляющее отличительный характер таковых поэм, нельзя однако же не различить, что во всех рассказах составляет канву, изузориваемую лирическими цветами и драматическими картинами. Это дает им рельеф эпический!..." Конечно, делается указание на отрывочность композиции: "Как неудачно состеганы кусочки, из которых сшита сия поэмка: рука художника не умела даже прикрыть швов, которые везде в глаза мечутся". Насмешки вызывает попытка поэта-романтика передать в своей поэме "местный колорит": герои "одеваются в маскарадные костюмы, представляющие уродливое смешение этнографических и хронологических противоречий". Эстетическое единодержавие героя встречает осуждение и рассматривается, как неумение поэта описывать характеры: "Владимир есть единственный герой, или лучше — единственное живое лицо поэмы: ибо все прочие суть восковые фигуры...". Наконец, особенное негодование критика вызывает романтическая фабула, обычная для нового жанра, стремление поэтов романтической школы к мелодраматическим эффектам всякого рода. "То ли теперь в наших поэмках?.. Нет ни одной из них, которая бы не гремела проклятиями, не корчилась судорогами, не заговаривалась во сне и на яву, и кончилась бы не самоубийством. Подражать морозом по коже, взбить дыбом волосы на закружившейся голове, облить сердце смертельным холодом, одним словом — бросить и тело и душу в лихорадку... Вот обыкновенный эффект, до которого добиваются настоящие наши поэты. Душегубство есть любимая тема нынешней поэзии, разыгрываемая в бесчисленных вариациях: резанья, стрелянья, утопленничества, давки, заморозения et sic in infinitum!..." Мелодраматическим эффектам фабулы Надеждина, как следовало ожидать, противопоставляет благородное спокойствие и условное величие традиционных сюжетов классической эпопеи: "Не могло ли бы с избытком заменить всю эту романтическую стукотню и резню — существенное достоинство и величие изображаемых предметов, наставительная знаменательность драпировки, не ослепительная для умственного взора светлость мыслей, не удушающая теплота ощущений?..."

Полемическая статья Надеждина, как это часто бывает в подобной полемике, заостряет проблему нового литературного жанра, выдвигая в полемическом освещении все существенные жанровые признаки: круг поэтических тем, традиционных для романтической поэмы, и установившиеся приемы их композиционной обработки. В том и грубом отношении журнальная критика дает нам богатый осведомительный материал.

Особенности романтической фабулы переходят в русскую романтическую поэму от Байрона и Пушкина. Обвинения Надеждина в "сей поэтической кровожадности, составляющей отличительную черту нашего литературного века", относятся в равной мере и к "восточным" и к "южным" поэмам. Правда, у Пушкина, по сравнению с Байроном, мы отметили ослабление мелодраматических мотивов и внешних осложнений и эффектов романтической фабулы. Подражатели Пушкина